

Д. С. Мережковский

"Петербургу быть пусту"

У меня, должно быть, лихорадка. Не удивляйтесь же, что слова мои будут похожи на бред. Кто нынче не бредит? Вы к этому привыкли. И если все чаще слова здравомыслящих напоминают бред, то, может быть, в бреду окажется крупица смысла...

Ну, довольно. Предисловия вообще бесполезны. Лучше сразу начать. Только вот не знаю, как бы повежливее.

Моя ежедневная прогулка -- по Летнему саду, мимо домика Петра Великого. Там на старых липах множество вороньих гнезд. Когда убийцы Павла I проходили ночью по средней аллее сада к Михайловскому замку, то поднялось такое карканье, что заговорщики боялись, как бы не проснулся спящий император. Вороны и надо мной каркают. Есть легенда, что эта вещая птица живет столетия. Может быть, некоторые из них помнят Петра.

И вот, в последнее время мне чудится в их карканье злое пророчество, то самое, за которое в 1703 году, при основании города, били кнутом, ссылали на галеры, рвали ноздри и резали языки: "Петербургу быть пусту".

"Три старых рыбака, живших до основания Петербурга в местах, где возник город, рассказывали в 1721 году, что за тридцать лет перед тем было такое наводнение, что вся страна до Ниеншанца была потоплена, и что подобные бедствия повторяются почти каждые пять лет. Поэтому первобытные жители невского побережья никогда не строили там прочных жилищ, но небольшие рыбацьи хижины. Как только, по приметам, ожидалась большая буря, крестьяне ломали свои хижины, а бревна и доски складывали как плоты и привязывали к деревьям; сами же, в ожидании убыли воды, спасались на Дудареву гору" ("Петербургская старина", академ. П. Пекарского).

Веря этим пророчествам, русские люди, насильно загнанные в "Парадиз", говорили, что здесь жить нельзя, что город будет снесен водой или провалится в трясину.

Осенью 1905 года я как-то раз вечером шел по Невскому. Вдруг все электрические фонари потухли. Наступила темнота, словно черное небо обрушилось. Подростки-хулиганы засвистели пронзительно, и раздался звон разбитого стекла. По направлению от Аничкина моста к Литейной бежали черные толпы. Ковыляющая старушка-барыня со съехавшей на бок шляпой закричала мне в лицо: "Не ходите, там стреляют!" И мне действительно послышались или почудились выстрелы. Было страшно, как во сне. И вспомнился мне сон. Впрочем, снов рассказывать не следует. Только два слова. Черный облик далекого города на черном небе: груды зданий, башни, купола церквей, фабричные трубы. Вдруг по этой черноте забегали огни, как искры по куску обугленной бумаги. И понял я, или кто-то мне сказал, что это взрывы исполинского подкопа. Я ждал, я знал, что еще миг -- и весь город взлетит на воздух, и черное небо обогрится исполинским заревом.

Я уехал в том же году, когда уже почти все было кончено; вернулся этой осенью, в самое сердце реакции, в самое сердце холеры. Ни той, ни другой не видно конца. Каждый день на страницах "Нового времени" печатается Memento mori {Помни о смерти (лат.). -- Ред.}: "Заболело 17 человек, умерло 9". Кажется, на всем Петербурге, как на склянке с ядом, появилась мертвая голова. Сведущие люди уверяют, будто бы холера никогда не кончится, и устье Невы сделается необитаемым, как устье Ганга: "Петербургу быть пусту".

Но ни холера, ни реакция, ни чудовищные слухи о самоубийцах, об "одиноких", о "кошкодавах", ни даже эта страшная тоска на лицах, о, конечно, всероссийская, но которая именно здесь, в Петербурге, достигает каких-то небывалых пределов безумия (никто не замечает своего и чужого безумия, кажется, потому что все вместе потихоньку сходят с ума), -- нет, не все это, а что-то иное заставляет меня испытывать вновь знакомое "чувство конца", видеть в лице Петербурга то, что врач называет *facies Hippocratica*, "лицо смерти".

"Я замечал, -- говорит Печорин в лермонтовском "Фаталисте", -- что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы".

Главное, что поразило меня в Петербурге, это именно то, что лицо его *ничуть не изменилось*. Петербург тогда и теперь -- как две капли воды. Правда, весь он осунулся как-то, одряхлел, постарел собачьей старостью. Но ничего не убавилось и не прибавилось. Только электрические трамваи, кинематографы да призрачный двойник Василия Блаженного. Но ведь этого мало даже для октябристов и мирнообновленцев.

Надо прожить несколько лет в Европе, чтобы почувствовать, что Петербург все еще не европейский город, а какая-то огромная каменная чухонская деревня. Не вытанцовавшаяся и уже